

Французский бунт: «бессмысленный» и «беспощадный». Размышления по поводу одной книги*

Перед нами интересная монография известного учёного о «протестующей толпе» во Франции в последний век Старого порядка, чтение которой будет полезным для любого историка. Тем большее любопытство вызвала она у меня как специалиста, на протяжении долгого времени занимающегося историей русского бунтарства. Признаюсь, что с удовольствием познакомился с этим текстом ещё полтора десятка лет тому назад, и он оказал несомненное влияние на многие мои научные построения. Приятно было узнать о новой его публикации уже в столичном издательстве.

Прочитав строки, с которых начинается книга: «Тема настоящей работы далеко не новая. Её много и обстоятельно изучала отечественная историография. Успехи её очевидны и хорошо известны. Не без влияния марксистских исследований в последние тридцать лет эта тема стала классическим сюжетом французской историографии. Однако этот сюжет далеко не исчерпан» (с. 3).

Слова эти написаны в середине 1990-х, когда книга небольшим тиражом в 1 тыс. экземпляров впервые предстала на суд читателя¹. С тех пор российское историческое сообщество прошло немалую дистанцию, успев попутно подвести промежуточные итоги своего существования в ситуации «постмодерна», «пост-постмодерна», «10-ти лет после миллениума» и т.п. Однако «бунташная» тематика по-прежнему остаётся «далеко не исчерпанной» и сохраняет свою несомненную актуальность. Не так много за истекшие годы появилось у нас новых работ, посвящённых изучению народного протеста в указанных временных пределах. Приоритетный сюжет советской историографии сегодня уверенно обособился на обочине отечественного историописания. В такой ситуации появление аутентичного переиздания монографии З.А. Чеканцевой в 2012 г. выглядит вполне оправданным решением автора.

Не вижу большого смысла в том, чтобы с нарочитым буквоедством страница за страницей рассматривать каждую ав-

торскую интенцию сквозь квазинаучную призму зубодробительной критики, пытаясь выискивать неудачные или уязвимые места в тексте. Подобное занятие едва ли можно считать достойным и стоящим потраченного на него времени. Обратим внимание на иное. С детских пор «Капитанской дочкой» мы недвусмысленно приучены воспринимать русский бунт в хрестоматийной пушкинской трактовке, и знаем, что «не приведи Бог» его «видеть». Но то – бунт русский. Можно ли и об «открытом протесте» французского простонародья столь же категорично заявить, что он «бессмысленный» и «беспощадный»? Монография даёт нам хороший повод для научных рефлексий на данную тему, уникальную возможность посмотреть, каким изучаемый феномен предстаёт на таком компаративном фоне. Уже за это автора стоило бы уважительно поблагодарить.

Интригующей кажется сама постановка проблемы, выраженная в названии с изящной простотой семантического оксюморона – «Порядок и беспорядок». Возникающие а priori гипотетические предположения, в конечном счёте, заводят в интеллектуальный тупик. Быть может, автор имел в виду направленность народного протеста от беспорядка к порядку; или же речь идет об извечной антитезе «порядка» и «хаоса», в том смысле, что «стихия» всегда была враждебна «цивилизации», а возможно, здесь неявно предполагается приснопамятное диалектическое – «единство и борьба противоположностей»? Какая культурная онтология замаскирована в столь изощрённой формулировке?

Новаторство авторского замысла видится в том, чтобы, не разрывая с научной традицией, но органично развивая её в то же время «вписать феномен бунта «в историко-культурный контекст эпохи», исследовать «бунтовщические проявления толпы как сложное, наполненное символическим смыслом ритуализированное поведение» (с. 196). По материалам французской истории предпринимается попытка изучить анатомию, вычислить

* Чеканцева З.А. Порядок и беспорядок: протестующая толпа во Франции между Фрондой и Революцией. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 240 с.

алгоритм народного протеста на исходе Старого порядка, а в результате – расшифровать «язык» протестующей толпы, понять телеологию и смыслополагание её «жестов».

Вслед за З.А. Чеканцевой отчётливо осознаю, что изучаемый ею феномен не ограничивается только политическими, социально-экономическими или какими-нибудь иными рамками. Он вмещает в себя едва ли не весь комплекс социокультурных аспектов с сильными «заходами» по времени как назад, так и вперёд со всеми их реалиями и измерениями. В результате, чем больше погружаешься в материал, тем сильнее становится потребность идти дальше, захватывать пласты как можно глубже и шире. Поэтому могу только поддерживать заявленную в работе претензию через исследование различных форм «открытого протеста» понять ментальность эпохи, «картину мира» его участников.

В полном соответствии с традициями современного историописания здесь акцентируется междисциплинарная методология и многомерный взгляд на массовые акции коллективного недовольства: не только «сверху», с точки зрения власти поддерживающих, но и глазами самих протестующих простоллюдинов. Автор сознаёт, что у каждого из них была своя правда, которую необходимо понять в масштабе изучаемой эпохи, не пытаясь смотреть на прошлое с «высоты собственной колокольни». В рамках, например, семиотической парадигмы такой подход позволяет увидеть в народном протесте органичный фрагмент «текста» традиционной культуры, где, по известному выражению, каждое слово пахнет контекстом².

В этом символическом пространстве Старого порядка «язык» протестующей толпы без особых затруднений «прочитывался» современниками, но для нас он уже требует аккуратной и адекватной расшифровки. Очевидно, что только на основе «языка» культуры возможно реконструировать и выявить те глубинные смыслы, которые заложены в любом факте истории.

Анонсированными познавательными императивами обусловлена и структурная композиция книги с её членением на главы и параграфы, в которых последо-

вательно раскрываются экология протеста, дихотомия бунт/власть, воображение бунтовщиков, логика толпы, а также традиции, «правила» бунта и сопряжённые с ними темы. Избегая построчного штудирования, остановлюсь на тех проявлениях «народных манифестаций», которые в предложенном истолковании показали наиболее оригинальными и значимыми для понимания изучаемого феномена.

Должен оговориться, что в принципе разделяю неписаное правило, согласно которому о понятиях не спорят, а договариваются. И все-таки авторская терминология порой вызывает сомнения. На протяжении всей монографии убедительно показывается, насколько разнообразны были «пароксизмы открытого сопротивления» в промежутке между Фрондой и Революцией. Отсюда, казалось бы, вытекает настоятельная потребность в их четкой типологии. Однако автор, сделав соответствующие отсылки (с. 90–91), уходит от обсуждения этого вопроса, не желая противопоставлять «народные манифестации» друг другу, а стремясь найти в них нечто общее, представить, таким образом, специфические черты «протестующей толпы», а через неё и особенности социума в целом. Наверное, методологически – это перспективный приём, но должно же быть различие между, например, рядовым волнением простоллюдинов и их же восстанием. Привыкнув к масштабам «пульсаций» (по выражению автора) разинского или пугачёвского бунтов, с удивлением узнал, что во Франции «открытые бунты» чаще всего «выливались в словесные перебранки и мелкие стычки со стражниками. Иногда дело доходило до тумачков» (с. 42); или о том, что мог быть «*бунт на площади Вивьен 17 июля 1720 г.*» (здесь и далее выделено мною. – В.М.), ставший кульминацией недовольства парижан (с. 195). Позвольте, но о бунтах ли здесь идёт речь? Как же в таком случае нам классифицировать, допустим, Жакерию? Да и российские «Соляной» и «Медный» «бунты» в Москве выглядят, пожалуй, масштабнее большинства выступлений, описанных в монографии. Полагаю всё же, что различные «манифестации» протестующей толпы требовалось «разложить по полочкам» тех или иных типов коллектив-

ного сопротивления более упорядоченно. Автор и сам осознаёт, что «бунт», «восстание», «движение», «выступление», «мятеж», «волнение» – это не одно и то же. Интерпретировать их именно как бунтарские можно только в самом широком смысле слова³.

Впрочем, не будем отвлекаться на «сущности» и «дефиниции», ибо текст книги настраивает на комплиментарный диалог с её создателем. Значительное внимание в монографии уделено тщательному анализу предпосылок массового протеста. Природные катаклизмы и вызванные ими эпидемии, различные климатические и социально-экономические факторы обстоятельно рассмотрены автором в рамках социопространственной организации Старого порядка. Несомненно, что каузальная зависимость между ними и народным недовольством имела место быть, а потому названные обстоятельства, конечно же, влияли на протестную активность человека в эпоху, когда вся его жизнь едва ли не целиком зависела от воли власти имущего или от капризов природы. Жизненная нестабильность зачастую порождала колебания и неустойчивость психики, а те, в свою очередь, становились доминантами острых эмоциональных переживаний простецами окружающей действительности и себя в ней. Эта тенденция вполне характерна не только для Франции на исходе Старого порядка, но и для России в условиях переходного к Новому времени периода. Не удивительно поэтому, что нашей истории также хорошо знакомы хлебные и картофельные, холерные и чумные и т.п. «бунты», похожими были и поведенческие реакции их французских и российских участников.

Понятно, что такая трактовка изучаемых сюжетов не относится к числу авторских ноу-хау. Здесь встречаем что-то à la К. Маркс, Ф. Бродель, Э. Ле Руа Ладюри, хотя они напрямую и не цитируются в данных контекстах. Сказано это вовсе не в укор автору. Но если бы всё тем только и ограничилось, историографическая кладовая пополнилась бы вполне добротной, профессионально написанной, *ещё одной* книгой о нелёгкой судьбе простого человека «во времена оны».

Однако З.А. Чеканцева справедливо

полагает, что поиски подобной «телефонной бинарности» (вызов/ответ; причина/следствие) не самый лучший путь к «разгадке» природы французского «бунта». Он не актуален в той системе познавательных приоритетов, в которой ангажируется не событийная, а эмотивная компонента «протестующей толпы», не «действие», а его «переживание». Поэтому богатый фактический материал оказался для автора лишь иллюстративным подспорьем для репрезентации куда более важной идеи – тяготы сами по себе не каждый раз становились прямыми катализаторами массового неповиновения, да и бунтовали далеко не всегда именно самые обездоленные. Для того, чтобы вполне мирный человек внезапно взялся за «вилы и топоры», необходимы были непосредственные поводы-провокации: вот кто-то крикнул о необоснованном повышении цен на хлеб, где-то распространился слух о голодном заговоре или о похищении детей с целью приготовить из их крови ванну для знатной особы, может быть случилось что-то иное, но незамедлительно вызывающее сочувственное соучастие толпы и взрывы враждебности с её стороны. Иначе говоря, значимы были не бедствия как таковые, а их ментальное «измерение», то, как они воспринимались взбудораженным сознанием простолюдинов, живших на исходе Старого порядка. Пытаясь ответить на вопрос, почему люди бунтуют, З.А. Чеканцева отдельную главу специально отводит изучению коллективного «воображения» бунтовщиков, связывая его с «традициями бунта».

Показательно, что в изложении автора поводы оказывались не просто последней каплей, переполнявшей чашу народного терпения, но одновременно и мотивацией, обоснованием протеста. Они вооружали необходимой санкцией и, таким образом, легитимировали протест в глазах его участников. Любопытно, но, в отличие от российского бунтарства, поводы-провокации во Франции, судя по всему, могли и не быть окрашены в монархическую гамму тонов. И хотя З.А. Чеканцева подчёркивает, что «бунтовщики так или иначе выражали свое почтение и любовь к королю» (с. 167), лапидарность приведённых ею сведений (3 страницы) не убеждает

в этом. Иное дело Русь, где без санкции государя, как правило, воображаемой, не обходилось практически ни одно выступление социальных низов. Это могли быть слухи о милостивых указах царя, облегчающих их жизнь, о его разрешении «выводить мирских кравапивцев» и т.п. Иногда «истинный царь» сам объявлялся среди простых людей, предлагая им свои «услуги», и даже иной раз оказывался во главе массового сопротивления «изменникам-боярам». На протяжении XVII–XVIII вв. в России известны 147 случаев именного или статусного самозванства. Ничего подобного, насколько позволяет судить монография, не было в последнее столетие французского Старого порядка, и подобные содержательные отличия, скорее всего, обусловлены несовпадениями политических дискурсов западноевропейской и российской традиций.

Именно с момента рассмотрения «воображения протестующей толпы» от Фронды до Революции стало невозможным оторваться от увлекательного чтения, книга оказалась наполнена множеством ярких сюжетов и нетривиальных авторских размышлений. Чего стоит только постановка вопроса о праздничной конъюнктуре французского «бунта», его фольклорных аспектах и т.п. Автор обращается к анализу театрализованных форм народной культуры для того, чтобы глубже понять внутреннюю природу «бунта», который сам по себе зрелищен и всегда нацелен на визуальное восприятие. Не случайно приводится мнение о том, что в некоторых случаях акции протеста «были своеобразным спектаклем, скорее весёлым, чем трагическим» (с. 198). Театральный код органично включается в исследование, благодаря чему высвечивается культурная аксиология пространства, выстроенного «протестующей толпой». Оно населяется персонажами, для которых, например, чрезвычайно важным был момент переодевания/перереживания (движения «маскаратов»). То есть костюм как составляющая «спектакля» входил в структуру «механизма оспаривания»: протестующие «чернили лица, — отмечает З.А. Чеканцева, — или, напротив, выбеливали их мукой. Надевали на глаза тряпичные маски, переодевались в женские платья и т.д.» (с. 187).

«Народные манифестации» теперь уже предстают перед нами не такими, как они, «собственно, были на самом деле», но какими «проигрывались» в восприятии людей, их переживавших. В результате, объективный смысл происходящего раскрывается через суммарное выражение множества субъективных смыслов участников, противников и просто свидетелей протестных акций. Показывая их архаическую семантику (смысловую и сексуальную инверсию), З.А. Чеканцева приходит к взвешенному выводу, что, «переодеваясь, т.е. действуя в рамках народной традиции», «маскараты» «пытались убедить себя и своих противников» в законности своих действий (с. 190).

Вполне обоснованным выглядит мнение, что в любом праздничном веселье есть элемент оспаривания или насмешки над официальными институтами, что вызывало их негативную реакцию и стремление поставить стихию народного праздника под свой контроль. Соглашусь с ним, поскольку оно подтверждается и материалами российской истории, когда распад привычной повседневности тяжело травмировал сознание простонародья, что в условиях бунта актуализировало архаичные слои коллективного бессознательного. В частности, в протестном поведении реанимировались архетипы народной смеховой культуры с характерным для неё антиповедением, выворачиванием мира «наизнанку», его «раздвоением». Можно вспомнить недостаточно изученные в литературе традиции масленичной «игры в царя». Причём едва ли её трактовка может ограничиваться указанием только на психотерапевтический или травестийный эффекты. В контексте традиционной ментальности она представляла как «игра» в высшее, всемогущее существо, в содержательном плане соответствовала кощунственному стремлению через внешнее подобие обрести сакральные свойства. Для современников эта смысловая «начинка» представлялась вполне очевидной, и потому нередко связывалась с появлением самозванцев. И хотя подобное происходило не всегда, но бывало и так, что за ними шли сотни и тысячи сторонников, они формировали подходящее своей высочайшей претензии «придвор-

ное» окружение из «князей» и «графов», «генералов» и «фельдмаршалов». Ну а дальше срабатывало известное правило: «короля делает свита». В ситуации, когда все «роли» были чётко расписаны в соответствии с традицией, бунты становились своего рода «театральными подмостками» для проявления незаурядных «актёрских» качеств «царя-батюшки».

Нет сомнений, что учёт праздничных архетипов народной культуры позволяет исследователю не ограничиваться рефлексией только по поводу внешней формы, но и выявить более глубокую, содержательную семантику «открытого протеста» и во Франции, и в России.

Не могу не отметить ещё один акцентированный в книге важный аспект коллективных «манифестаций» от Фронды до Революции – вопрос о природе народного насилия. Как минимум со студенческих лет помнится знаменитый перифраз: «насилие – повивальная бабка истории». И вот уже развитие человечества начинается мыслиться как «классовая борьба» или «борьба за существование», «война всех против всех», в ходе которой и осуществлялся «естественный отбор». Какое же место в этой суровой «прозе жизни» занимали французские «бунты»? Отметим, что практически всякий из них «имманентно содержал в себе угрозу насилия» (с. 194), автор вполне справедливо не стал занимать себя дальнейшими историософскими эскерциями. Всё её внимание привлечено к анализу и осмыслению конкретных примеров народного насилия, которое в последнее столетие Старого порядка «чаще всего было направлено на вещи, а не на людей» (с. 194). Оно рассматривается в контексте таких ключевых понятий, как «ритуал», «символ», «миметизм», «вербализм», «катарсис» и т.п. Особенно яркими выглядят эпизоды символических расправ с имуществом или одеждой жертв, с их мёртвыми телами. Причём «агрессия в толпе» далеко не всегда «персонифицировалась» верно (с. 194), нередко «доставалось» так сказать «стрелочникам», а не подлинным виновникам. И слава Богу, что для «народных манифестаций» во Франции – это лишь эпизоды, только «иногда дело доходило до убийства» (с. 200).

Всё подобное, замечу, известно и в нашей истории. Сообщение анонимного шведского свидетеля московских событий в июне 1648 г. вполне гармонирует с тем, что неоднократно происходило во Франции примерно в ту же эпоху: «весь народ, также и стрельцы принялись грабить и разрушать дом Морозова так, что даже ни одного гвоздя не осталось в стене; они взламывали сундуки и лари и бросали в окошко, при этом драгоценные одеяния, которые в них находились, разрывались на клочки, деньги и другая домашняя утварь выбрасывалась на улицу, чтобы показать, что *не так влечёт их добыча, как мщение врагу*»⁴.

Думается, под этими словами могла бы подписаться и З.А. Чеканцева. Не только французские крестьяне, ремесленники, торговцы, но и наши «бунтовщики» неоднократно также измывались над мёртвыми телами тех, в ком видели своих врагов. Да, у нас, как у них; у них, как у нас. Но почему-то все время вспоминалась, например, кровавая оголтелость Пугачёвщины с её многотысячными жертвами. Сравнение, невольно заставляющее согласиться с тем, что насильственные действия французских низов никак нельзя квалифицировать категориями «варварства» и «дикости». Зададимся риторическим вопросом: кем на этом иллюстративном фоне выглядят, допустим, разинцы, любившие начинать женщин пороком, поджигать его и наслаждаться полученным эффектом, или те же пугачёвцы, с изуверской логичностью вздернувшие астронома на виселице, чтобы был поближе к звёздам? Именно о таких отнюдь не единичных эксцессах, словно набатным колоколом, звенящий шепот: «господа, вы – звери». Демонстрируя отличительные особенности русского бунта, историк В.М. Соловьёв утверждал, что европейские «бунтовщики» «не жгли и не крушили без всякой нужды и без всякого разбора всё “дворянское”, не проливали куража ради крови, не измывались над людьми на забаву себе и озверевшей черни»⁵. Конечно, в таком национальном самобичевании есть изрядная доля преувеличения, но в свете сказанного становится понятным уничижительное мнение иностранцев о России, не раз звучавшее со страниц их дневниковых записей и мемуаров.

Знакомясь с деструктивной агрессивностью народных бунтов, так и хочется вынести прошлому свой суровый приговор. Отрадно, что именно этого З.А. Чеканцева и не делает. Она не согласна с заманчивой логикой обличительного нарратива, осознавая, что задача историка в том, чтобы не судить прошлое, но пытаться понять его в контексте тогдашней шкалы ценностей и морали. Приходится признать очевидное: как бы ни леденило нам кровь описание страданий и мук жертв бунтующей толпы, невозможно отрицать её права на насильственный протест в ситуации, когда существующая общественная структура не предусматривала иных, мирных механизмов снятия социальных противоречий. Поэтому причины насилия нельзя искать в личной жестокости простонародья. Оно социокультурно обусловлено и может рассматриваться как явление того же семантического ряда, что и повседневная жестокость со стороны властей. И лишь в такой непривычной нам «сетке» координат может быть адекватно понято.

Только когда некий факт прошлого окутывается множеством самых разных смыслов, зачастую совершенно несовместимых и отталкивающих друг от друга, он входит в историю и культуру. Сила учёной рефлексии как раз и заключается в том, что она преобразует даже на первый взгляд малозначительное событие в существенный признак исторической эпохи. В её рамках происходит осмысление всего исторического процесса. Научное осознание его, как и тех звеньев, которые его образуют, не может состояться в отрыве от рефлексии, совпадающей во времени с самим событием.

К каким же выводам приводит нас эта книга? Подобно своему русскому «собрату», французский «бунт» также оказался «многофункциональной системой» (с. 218), вобравшей в себя одновременно широкий спектр конструктивных и деструктивных тенденций («порядок» и «беспорядок»). Это был сигнал тревоги о дисфункции общественного организма, ответ на культурные инновации, реальные или воображаемые, но всегда вызывавшие тревогу. Однако «бунт» — это ещё и движение к порядку, он «укреплял единство общности участвующих в нём людей»

(с. 219), стремясь сохранить и утвердить традиционную систему ценностей и отношений. В такой постановке вопроса предназначение «бунта» заключалось в том, что он исполнял роль защитного механизма, пытаясь с помощью нормативных средств народной культуры реанимировать привычный, а потому комфортный для протестующих мир знакомых стереотипов, символов, обрядов и ритуалов.

Напомню известную историографическую аксиому: в науке не существует «идолов», требующих коленопреклоненного пиетета; то, что казалось незыблемым и освящённым «вечным» авторитетом классика ещё вчера, сегодня может и должно быть пересмотрено. Так случилось и с хрестоматийной пушкинской оценкой народного бунтарства. По отношению к тем, кто не разделял декларируемую бунтовщиками иерархию ценностей, он, конечно, бывал беспощадным. Но бессмысленным, как писал ещё патриарх советской историографии М.Н. Покровский, «он мог быть назван лишь с точки зрения... помещиков, которые, конечно, не могли видеть большого смысла в уничтожении их господства». Стоит ли и нам сегодня отождествлять свою позицию с дворянским эгоизмом минувших столетий?⁶

В опосредованной форме, без прямой адресации к А.С. Пушкину, к тем же выводам на материалах «народных манифестаций» в истории Франции от Фронды до Революции пришла З.А. Чеканцева. Уже завершив работу над монографией, она делилась воспоминаниями о том, насколько в своё время «непросто было понять, что бунт, протестное поведение вообще, — это, помимо прочего, поведение культурное». «На самом деле, — пишет историк, — мысль очень даже простая. Сегодня даже тривиальная»⁷.

Не соглашусь с уважаемым учёным — не такая уж это тривиальная мысль. По крайней мере, для современной историографии русского бунтарства, по-прежнему предпочитающей объяснения в духе экономического детерминизма. Несомненно другое: монография является важным для нашего историописания шагом на пути к признанию подобной очевидности. Всё содержание книги убедительно показывает и доказывает, что французский «бунт» не

был проявлением «слепого бессмысленного ярости» (с. 196), но напротив – каждый протестный «жест» его участников культурно конструировался и потому должен культурно интерпретироваться. Понимаешь, что иной гносеологический масштаб едва ли может обеспечить столь же корректное и понятное изображение протестующей на исходе Старого порядка толпы.

В.Я. Мауль

Примечания

¹ Чеканцева З.А. Порядок и беспорядок. Протестующая толпа во Франции между Франдой и Революцией. Новосибирск, 1996.

² Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 106.

³ Усенко О.Г. Социальный протест в России до начала XX века: терминология и классификация // Из архива тверских историков. Вып. 6. Тверь, 2006. С. 60–80.

⁴ Городские восстания в Московском государстве XVII в. Сборник документов. М.; Л., 1936. С. 55.

⁵ Соловьёв В.М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность. М., 1994. С. 200–201.

⁶ Покровский М.Н. Предисловие // Пугачёвщина. Т. 1: Из архива Пугачёва (манифесты, указы и переписка). М.; Л., 1926. С. 13.

⁷ Чеканцева З.А. Методологический синтез, междисциплинарный подход и возможности обновления истории «снизу»: Франция XVII–XVIII вв. // Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы. Томск, 2002. С. 177.

С.Г. Іваницька. Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець XIX – початок XX ст.). Запоріжжя: Просвіта, 2011. 452 с.

История региональных и этнорегиональных партийных структур и политических элит бывшей Российской империи оставалась недостаточно разработанной в обобщающих трудах, посвящённых партийной системе начала XX столетия, созданных в конце 1980-х гг. в СССР, а после распада Советского Союза скоординированные исследования по этому предмету оказались ещё более затруднены. Важным шагом в изучении данной темы стала книга Светланы Григорьевны Иваницкой, являющаяся результатом длительного научного поиска автора. Закончив в стенах Института российской истории РАН аспирантуру и успешно защитив в 1994 г. кандидатскую диссертацию под руководством доктора исторических наук, профессора К.Ф. Шацилло, Иваницкая опубликовала результаты своих наработок в серии фундаментальных изданий («Отечественная история: Энциклопедия в 5-ти томах». М., 1994–2000; «Программы политических партий России. Конец XIX–XX вв.». М., 1995; «Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия». М., 1996; «История национальных политических партий России». М., 1997), а в дальнейшем расширила проблемное поле своих исследований.

В рецензируемой книге С.Г. Иваницкая попыталась реконструировать «колективный портрет» группы единомышленников, либерально-демократической по идеологическим устремлениям, украинской по своей изначальной самоидентификации, которая концентрировалась главным образом в рядах Украинской демократической радикальной партии (1905–1908), а также – отдельные её представители – в организациях конституционно-демократической партии на территории «малорусских» губерний. Партийно-политическая элита рассматривается автором как некая «воображаемая общность», объединённая менталитетом, социальной средой и совместной деятельностью по реализации «украинского проекта». Источниковая база книги комплексна и репрезентативна: архивные документы (ГА РФ, Центральный государственный исторический архив Украины, Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского и др.), периодическая печать, политическая публицистика, литературно-критические работы, научные и популярные труды, вышедшие из-под пера героев книги, партийные документы (программы, декларации, материалы съездов), мемуары, дневники, переписка.